А. КОЛЛОНТАЙ

В ТЮРЬМЕ КЕРЕНСКОГО



ИЗД-ВО ПОЛИТКАТОРЖАН
МОСКВА

ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА ПО ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В ОЧЕРКАХ, ВОСПОМИНАНИЯХ И БИОГРАФИЯХ
журнала „КАТОРГА и ССЫЛКА“

1928 г. № 21—22.

А. КОЛЛОНТАЙ

В ТЮРЬМЕ КЕРЕНСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН и СС.-ПОСЕЛЕНЦЕВ
МОСКВА—1928

Москва. Главлит А 1815. 7.000 экз.
«Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный, 9.

Июль семнадцатого года. Торнео—пограничная станция Финляндии и Швеции. На таком далеком она севере, что летом солнце светит круглые сутки. До войны—унылый, мало-посещаемый пограничный пункт. За годы войны единственный, открытый для России, транзитный железнодорожный путь в Европу.

Унылая станция. Казенно-казарменные постройки. Болота. Низкорослая полярная береза.

Серенький денек. Сразу, неожиданно грянули и смолкли задушенные первые раскаты рабоче-крестьянской революции. «Июльские дни».

Еду в Россию—из командировки ЦК в Стокгольм на совещание Циммервальда, для отстаивания большевистской позиции в борьбе за мир и против соглашательской линии правого Циммервальда.

На совещание, однако, не прибыли ожидавшиеся делегаты, и совещание превратилось в «информационное». Дискутировали дня три, но решения не имели резолютивного характера. Сколько помню, участвовали на нем: от большевиков—т.т. Радек, Воровский и я, Гримм (бюро Циммервальда), Балабанова (от Италии), Цета Хеглунд, Фредерик Стрем (Швеция) и кто-то из меньшевиков.

5 июля меня разбудил звонок по телефону т. Радека:

— Читали о восстании в Петрограде? Временное правительство решило его задушить. Идут аресты большевиков. Дело серьезное.

Это было первое сообщение об июльских событиях за границей, где я находилась уже более недели. Пресса, буржуазная, конечно, смаковала попытки большевиков вызвать «мятеж» матросов и солдат. Писалось о том, что действия большевиков «инспирируются» духовно и материально германским генеральным штабом.

Через час мы уже сидели в маленьком кафе с Радеком и Воровским, обсуждая положение. Было ясно: Временное Правительство одержало верх на этот раз, и расправа с приверженцами лозунга «вся власть Советам» будет не шуточная.

Помню, как т. Радек, предвидя, что преследования большевиков могут перекинуться и на Швецию, пошутил:

— И в первую очередь начнут травить нас с вами, Вацлав Вацлавович, как истых немецких шпионов, не даром ваша фамилия Воровский, а мою переделают в «Крадека»...

В кафе нас разыскал т. Ганецкий с последними новостями из России: мятеж поднят был матросами Балтфлота. Арестован Каменев. Ленину удалось пока избежать ареста, но его разыскивают. Пресса комментировала: то, что Ленин «скрылся»,—явная улика против него и доказательство, что большевики не что иное, как агенты Германии. Тов. Ганецкий, как человек подпольного опыта, сейчас же поднял вопрос о том, как «укрепить» за границей большевистскую базу для дальнейшей, быть-может, надолго нелегальной работы?

К вечеру газеты писали уже и обо мне, будто я выехала за границу «со специальными заданиями». Эти сообщения затрудняли мое пребывание в Швеции. Я была выслана из Швеции в начале войны за антимилитаристическую пропаганду, и шведские товарищи с трудом добились у своих властей разрешения на мой

в'езд на эти десять дней совещания в Стокгольме. Дни эти были уже на исходе. Надежды на продление визы после июльских событий—весьма малые.

На другой день иностранные буржуазные газеты сообщали с удовлетворением, что «мятеж» окончательно подавлен, что Керенский и его собратья по кабинету коалиционного правительства задушили в корне попытки большевиков поднять восстание и сыграть на руку Германии. Аресты большевиков, отмечала пресса, идут полным ходом.

Я решила выехать в Россию. Мне представлялось невозможным оставаться в положении «пассивности» за границей, когда события явно нарастали в России. То, что произошло в Петрограде, — лишь свидетельствовало о прорыве уже накопленной революционной энергии. Чего же ждать за границей?

Помню, что т. Радек и т. Воровский отговаривали меня от излишней торопливости, доказывая, что силы сейчас могут очень и очень понадобиться за границей. Ехать в Россию—значит, ехать на неизбежный арест. Однако, страх отрезанности от России пересиливал благоразумие. Я решила ехать.

Ко мне присоединилась т. З. Ш., только что возвратившаяся из Парижа.

Денег на обратный путь у меня не хватало. Пришлось занять у т. Воровского, в счет Ц. К. Но «счет» этот был весьма «проблематический» и скромный. А газеты как раз шумели по поводу германского золота, будто бы осыпающего большевиков.

Перрон Стокгольмского вокзала — и все дружеские, но несколько озабоченные лица товарищей — русские и шведы — провожают меня в «тюрьму Керенского». Так и было напечатано в этот день (кажется, 20 июля нов. ст., в «Политикен'е» — орган «левых шведских социалистов»). Но об аресте, конечно, меньше всего думалось. Разве тогда можно было ощущать себя вне

того властного, огромного, что творил трудовой народ в России?

Пограничная станция Швеции—Хаппаранта. Унылая полярная природа, но чистенькие деревенские строения и свеженькие бараки—для беженцев и репатриируемых военнопленных из России и в Россию.

Всего каких-нибудь четыре месяца тому назад я ехала по этому же пути в Россию, в «освобожденную» Россию, где народ сумел свергнуть царя и провозгласить страну республикой. Политическим дана амнистия. Образовано Временное Правительство, но рядом, стихийно и знаменательно, раздается классовый голос Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

Ехала я тогда, четыре мясяца тому назад, с письмом-директивой Бюро Ц. К. от Владимира Ильича. Дождалась этого письма в Норвегии и поспешила в «новую Россию» (т. Ганецкий добился тогда для меня разрешения транзитного проезда через Швецию).

Тогда, в марте 1917 года, была суровая зима. Белая снежная пелена скрашивала унылость полярных болот. И было весело на саночках с бубенчиками переезжать через пограничную речку Торнео. Впереди — «новая Россия». Еще не наша, еще только «буржуазная», но воля рабочих и крестьян к миру и основательной чистке старой России разве не проявлена созданием своих Советов? Впереди — борьба и работа. Работа и борьба. На душе тогда, в марте, было так же бодряще светло и свежо, как в снежно-морозном воздухе на пограничной резке. И под звон бубенчиков летели окрыленные мысли вперед—в новую революционную Россию.

Застава. У заставы — солдат с ружьем. А на шинели — яркий, яркий, красный бант. (Это было тогда, в первый приезд, в марте.)

— Ваши удостоверения, гражданка. Паспорт ваш.

— У меня нет бумаг. Я политическая эмигрантка такая-то.

— Эмигрантка? Погоди, справиться надо.

Ушел солдатик с красным бантом на шинели.

Стоят мои сани за запертой заставой. По ту сторону — новая Россия, революция... Неужели не впустят?

Но уже бежит молодой, разрумяненный от мороза офицер с бумагой. И у него на груди огромнейший красный бант.

— Коллонтай, говорите вы? Получили извещение от Члена Совета Рабочих и Солдатских Депутатов Шляпникова? Сейчас просмотрим список... Так и есть. Значитесь. Пропусти!

Офицер помогает выйти из саней и оживленно рассказывает о «свободной России», о новых порядках, о том, что офицеры сняли погоны... Кругом много военных. И еще больше пунцово-красных бантов...

Подошли еще офицеры, приветствуют. Еще мало проехало тогда эмигрантов; так случилось, что я была одна из первых. Осведомилась о Пятакове. Его задержали шведские власти на шведской границе.

Пока составляли поезд, повели в большой темный сарай на собрание. Пришлось говорить, конечно, о войне. И хотя не скрывала и не прятала большевистского подхода, речь понравилась. Говорили даже офицеры, что и они «также думают», что «война народу не нужна», что немцы тоже ведь люди...».

Когда поезд отходил от Торнео, около моего вагона столпились и офицеры без погон и солдаты в шинелях, все еще обсуждая войну и кому она нужна?

Так было в марте.

А теперь был июль — после первого порыва трудового народа прорвать оседавший и пытающийся «закрепиться» буржуазный строй в России.

Нас выпустили из заграничного поезда (теперь поезда доходили уже до Торнео). Отобрали паспорт. Вошли в здание станции. Тесно, грязновато, шумно,

накурено. И ни одного красного банта. Сели за столик, пьем чай. А из двери комендатуры то и дело выскакивают офицеры-пограничники, полюбопытствуют на нас — шмыг в комендатуру. Обе молчим и обе думаем: не спроста.

Вот и знакомый, тот самый, юный, краснощекий офицерик, что впускал меня через заставу, открывшуюся для «политических» в новую Россию. Смотрит хмуро и не кланяется. Ага! значит что-то «готовят».

Час проходит. Другой. Третий.

Приглашают к столику, где сидит офицер, заполнить анкетные бланки. Заполняем.

Пассажиры недовольны: почему с подачей поезда запаздывают?

Говорят об июльском восстании. Будто бы «жестокая расправа с большевиками». Будто редакция «Правды» разгромлена, масса арестов. «И будут этих немецких шпионов судить, как предателей страны, как шпионов немецких, полевым и скорым судом».

Сидим и слушаем.

Началась посадка в вагоны. Носильщик забирает и наши вещи.

— А паспорт?

— Паспорта возвращаются уже в вагоне.

Странно, неужели так и пропустят нас? Не верится.

В дверях отделения вагона офицер:

— Вы гражданка К-тай? Пожалуйте в комендатуру. Нет, нет! (это в сторону т. Ш.) — пока только вас зовут.

Ясно — арест.

Комендатура, как комендатура, маленькие окна, грязненькая. По стенам вплотную жмутся солдаты, будто на митинг собрались. Впереди, не то настороженные, не то смущенные офицеры. Выделяется высокая статная фигура в морском мундире — князь Белосельский-Белозерский.

Вошла. Секунда напряженной тишины и молчания.

— Вы, гражданка К-тай, арестованы.

Это об'являет князь.

— По чьему распоряжению? Я—член Исполкома Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Или в России переворот? Опять монархия?

— Что вы! Ваш арест по распоряжению Временного Правительства.

— Керенского? Прошу показать мне приказ.

Князь складывает бумагу так, чтобы я не видала начала, и тычет на подпись.

Так и есть — Керенский.

— В таком случае распорядитесь, чтобы из вагона сюда внесли мои вещи, а то еще пропадут.

— Разумеется! Поручик, распорядитесь.

И сразу пало напряжение. Засуетились. Зашевелились.

Гляжу, а у солдат хмурые, недовольные лица, расходятся нехотя, бурчат вполголоса, как после несостоявшегося митинга.

Офицеры же явно довольны. В чем дело?

После, по дороге в Петроград, сопровождавшая нас охрана рассказала, что солдаты, узнав о распоряжении о моем аресте, властью полкового комитета, постановили, что будут присутствовать при моем аресте. Офицеры же поняли это, как своего рода «протест», и панически боялись, как бы «не взяла слова», не вздумала заняться большевистской пропагандой.

— Тогда нам была бы крышка! — признались офицеры-охранители.—Не вас, а нас бы, пожалуй, переарестовали. Да еще хорошо, если только это!

Но в тот момент, когда поручик услужливо устремился за моими чемоданчиками, я этого не знала и не понимала: чем же, собственно, вызвано явное недовольство солдат?

Пока я размышляла, привели и т. Шадурскую.

Она улыбается:

— А ты-то мне расхваливала «новую Россию». Чего же тут нового? Даже очень старо и даже очень знакомо... Все, как подобает в старой матушке-России, только жандармы в другой форме.

— Гражданка Шадурская! Прошу не издеваться!— обрывает грозный статный князь.

— Да не хотите же, чтобы мы устроили вам истерику? Дайте нам по крайней мере хоть посмеяться.

Офицеры о чем-то шепчутся. Их, что-то смущает. Уходят, совещаясь. Потом мы узнали, что ордер был на арест Шадурского, а не Шадурской. Не знали, как же теперь быть.

Князь вступает с нами в политический спор. Он доказывает нам, что большевики, и мы в том числе,— «предатели отечества», что мы губим «свободную республику», что мы «играем на руку врагу», что между нами («я не говорю о вас, конечно, — оговаривается светски-любезный князь) есть явные агенты Германии. Это доказано.

— Кем?

— Вашими же товарищами, такими же революционерами, как вы, — Алексинским и Бурцевым.

И князь спешит нас ознакомить с нашумевшей в свое время клеветнической статьей Бурцева. В статье много знакомых имен. Подчеркнуто жирным синим карандашом: «Коллонтай».

— С каких это пор газетная статья является наивернейшим и неоспоримым документом? — справляется т. Ш.

И князь, досадливо пожимая плечами, доказывает нам, что Алексинский писал на основании документов и что все это вскроется на суде.

Под строгой охраной нас ведут в особый, прицепленный в конце поезда, вагон. Поезд оцеплен и пассажиров не выпускают. На перроне — кучка местных жите-

лей Торнео. И из этой кучки несутся крики: «немецкие шпионки!.. Большевички, предатели России!..».

Нас догоняет тучный человек с салфеткой подмышкой — содержатель вагон-ресторана. Зычным голосом бросает и он нам свое «неодобрение»:

— Вот ведут шпионку Коллонтай. Поганая большевистская собака, кровожадная Коллонтай! Твое место на виселице с изменниками России! Да здравствует Российская Республика и ее союзники! Ура!

Но «ура» содержателя вагон-ресторана никто не подхватывает. И его салфетка одиноким белым пятном колышется на фоне серенькой станции Торнео.

Финляндия. В те дни еще не «красная». Но рабочие, крестьянская беднота внимательно, молчаливо, вдумчиво прислушиваются к голосу большевиков. И группируют свои симпатии вокруг ярких и напористых выступлений Центро-Балта, непокорного Временному Правительству. Рабочая социалистическая партия Финляндии еще только недавно оторвалась от Второго Интернационала и провозгласила свое присоединение к Циммервальду [1]. В стране, под шумихой выступлений либеральной финской буржуазии, пускает корни большевизм.

Но на поверхности — все та же знакомая, степенно-неторопливая, основательная и работоспособная Финляндия. Скромные, чистенько прибранные, заново подкрашенные деревянные станции, тщательно ремонтируемые проселочные дороги, светлые многооконные здания школ, дымящиеся трубы заводов и фабрик и аккуратные рабочие поселки.

---

[1]. Я была командирована Ц. К. на С'езд социал-демократической партии Финляндии в середине мая для проведения этого присоединения.

Едем по Финляндии день, другой. Вагон наш второго класса, но дачного типа — на коротеньких сиденьях не уляжешься. Приходится дремать сидя. У входных дверей охрана. Нас сопровождают два молодых, очень молодых офицера. Конечно, спорим с ними всю дорогу о войне, о советах, о большевиках. Спорят офицеры горячо. Видно, что вопросы эти и их волнуют.

— Если большевики не агенты немецкого кайзера, почему же ваш вождь Ленин сбежал, скрылся? Ведь это же марает его честь, это же дает повод подозревать незапятнанность его имени!

Это — выпад более молодого и более искреннего.

Приходится раз'яснять различие классового мировоззрения, что честь, незапятнанность «личного» имени — наследие феодального строя, отживающие понятия. Когда-то феодализм нуждался в этом понятии «о личной чести» и принцип этот являлся моментом социально-скрепляющим взаимоотношения феодалов. Но сейчас пролетариату, рабочим не важна своя честь, а важно «свое» дело, дело рабочих и революции. Вот против чего нельзя грешить безнаказанно, вот чего нельзя предавать, с точки зрения морали пролетариата. Неужели Ленина будет смущать то, что враги рабочих будут поносить и марать «его доброе имя», называть его «шпионом» и «предателем» отечества? Ему нет дела до старого понятия «о чести». Он озабочен другим, более важным — судьбами революции. Он знает, что настанет день, когда его сила, его воля, его мысли будут нужны рабочим. Он бережет не себя, не свое физическое «я», а того вождя, который «пригодится» в момент острой борьбы; а раз «пригодится», — значит, надо себя сохранить, чего бы это ни стоило, пусть зовут это трусостью, предательством, чем угодно.

Наши охранители возражают, но задумываются. Еще молодые они, и головы не так безнадежно засорены буржуазной трухой понятий и представлений. Особенно

их волнует вопрос о защите отечества. Как же не защищать республиканскую Россию? Ну, добро бы царскую. А то, ведь, — республика у нас, свобода!

— Свобода?.. Где же она? Вот вы везете нас, как преступников, а мы ведь только то и делали, что защищали свои идеи. Значит, не всем можно мыслить свободно? Свободу либеральное Временное Правительство дает только до известного предела. Кто за «Советы»— того в кутузку.

Спорят. Возражают. Как признать, что большевики, эти «люди без отечества», в чем-либо правы?..

На тихих финских станциях, где мирно покуривают свои трубочки степенно-понурые финские крестьяне, около нашего вагона толпятся пассажиры. Стремятся разглядеть «шпионку Коллонтай». Офицеры-охранители спешат спустить шторы.

Что это? Предосторожность? Или желание избавить нас от неприятных, любопытствующих взоров?

Голод напоминает о себе. Мучает жажда. Ведь, лето — июль. Офицеры предлагают пройти в вагон-ресторан.

Поезд длинный; на площадках останавливаемся, чтобы вобрать неповторно-живительный, густо насыщенный сосной воздух Финляндии... Дышишь, а мысли убегают далеко-далеко, в раннее детство, на «мызу-Кузу», где дедушка-финн строил свое молочное хозяйство и где в мирной повседневности никто не думал о великих войнах и великих возможностях социальных переворотов.

В вагон-ресторане udтесновато. Садимся. И будто из земли вырастает наш яростный и непримиримый враг— тучный содержатель вагон-ресторана.

— Шпионке Коллонтай, большевичке и врагу Республики Российской, я в своем вагоне есть не позволю.

Наша охрана смущена и растеряна. Вся публика со злорадным любопытством следит за «скандалом».

Вполголоса пробуют втолковать что-то офицеры рьяному патриоту, готовому — во славу отечества — лишиться даже дохода с четырех клиентов. Но патриот стоек и неумолим. Шпионы должны быть посажены «на хлеб и на воду». Однако, даже и стакана воды он не позволяет подать большевикам в своем вагоне!.. Вода вся вышла.

Уходим под громкие тирады содержателя вагон-ресторана о славе российского оружия и любви к отечеству. Вместе с бутербродами, добытыми на станции, наши охранники приносят нам петроградские газеты.

На фронте восстановлена смертная казнь. Уже были случаи расстрелов. Эта новость вдруг освещает всю картину. Временное Правительство неустойчиво, оно судорожно хватается за все средства, лишь бы задушить «большевизм». Оно смертельно боится того духа непокорности, что носит общую, понятную трудовому народу кличку: «большевик». Временное Правительство хочет управлять народом, но не желает слышать и понимать, чего же хочет народ, трудовой народ?.. Да и что до июльских дней истинно-революционного сделало Временное Правительство, чтобы народ захотел считаться с волей этого правительства и позволил бы управлять собою? Хозяйственные основы России—неизменные. Земельный вопрос? Крестьяне самосильно и самочинно его разрешают, пока там Керенский и его братия раскачаются созвать «Учредилку». Крестьянам ждать некогда. Пока коалиционный кабинет обсуждает, осторожно обсуждает вопрос о «выкупе земель», крестьяне уже хозяйничают в бывших помещичье-дворянских гнездах. Нет, Временное Правительство не слышит голоса крестьянства, не умеет уловить его волю.

Вопрос о войне. Пока коалиционный кабинет в Петрограде слушает речи Керенского и приезжих «социал-соглашателей» о пользе наступлений, серые шинели бесшумно разбредаются с фронта, побросав свои ружья

в окопах. Иной и «Окопной Правды» никогда в глаза не видал, а готов «брататься» с немецким рядовым... В переполненных теплушках, в ободранных, без стекол в окнах, классных вагонах, а то и «по-птичьему способу», на крышах вагонов, тянутся густые эшелоны безоружных серых шинелей в родные уезды и села... А попал в свой уезд — сразу за дело: укрепить Совет рабочих и солдат, поддержать «стариков деревенских» в желании «реквизировать» усадьбу и землицу помещичью... Почему бы и нет? На войне все и все реквизировали. Это новое, твердо усвоенное понятие. При чем тут «выкуп»? Кто платил за военные реквизиции на фронтах? Кто считался с правом собственника? И солдаты ревностно на местах помогали односельчанам без долгих околичностей решать вопрос «землицы».

А Временное Правительство хмурилось и издавало «приказы», осуждавшие «бесчинства» на местах. Оно и тут не слышало голоса трудового народа.

Производство и продовольственный кризис. Основные вопросы для рабочих. И ум рабочих инстинктивно работал в направлении регулирования производства. Строились, формировались фабрично-заводские комитеты. А в то же время кабинет решал усилить «военную промышленность», не считаясь с нуждами крестьянина, забывая интересы воспроизводства; рабочие на своих собраниях обсуждали мероприятия для удержания промышленности от полного развала, для спасения железнодорожного транспорта, и обеспечения городов продовольствием. Но раньше заставить замолчать пушки. Раз война беспощадно с'едает всю общественную прибавочную ценность, добытую крестьянами и рабочими, надо ее прекратить. Раз фабрики и заводы перестали работать на потребности населения и лишь обслуживают фронт — нет накопления, нет запасов. Голод и оскудение неизбежны. Спасение — в прекращении войны и регулировании хозяйства.

Временное Правительство постановило «усилить военное производство», а рабочие готовились к решению коренного вопроса: о «регулированном» и «плановом» хозяйстве. Стихийно готовились. Обрывками мыслей, запечатленных в резолюциях и деловых решениях фабрично-заводских комитетов летом 1917 года... И все, что творилось нового, живого, творческого в России тех дней, все, что шло вразрез с судорожным стремлением буржуазии удержаться на базе буржуазной республики и спасти по возможности больше устоев старой России, в обиходе, в понятиях и — главное — экономике, — все это шло под ненавистной кличкой «большевизм». Нет, ничего истинно-революционного Временное Правительство не сделало. Но и восстановлением смертной казни на фронте и громогласным процессом против изменников отечеству — большевиков — оно не спасет положения и себя...

— А что же будет, если вы свергнете Временное Правительство?—любопытствует наша охрана, офицер, что помоложе.—Кто же будет править? Большевики?

— Нет, Советы. Советы рабочих и крестьян.

— Но по-большевистски?

— Да, по-большевистски.

Медленно, томительно ползет поезд. Устанешь от сидячего положения. Три бессонных ночи. А впереди еще долгий день пути. Говорят, что только под вечер доберемся до Петрограда.

За Выборгом дачные станции. И странно видеть знакомые картинки мирной обывательщины: скучающих дачниц, неизбежный флирт телеграфиста с девицей, в розовом летнем платьице...

Жадно покупаем газеты на станции. Аресты большевиков продолжаются. Во Временном Правительстве опять перетасовка портфелей. «Чехарда». А Советы? Почему до сих пор не выступают Советы в защиту своих членов? Отчего в Советах не слышно голоса про-

теста против деяний коалиционной власти? Не все же большевики из'яты? Неужели реакция так сильна? Неужели задушено движение за Советы? Надолго-ли? На месяцы? На годы?..

Белоостров. Пограничная станция с Россией. Прошу офицеров охраны послать хоть отсюда мою телеграмму председателю Исполнительного Комитета. Не может же Совет рабочих и солдат не реагировать на арест члена Исполкома.

Ждем обхода пограничных властей. Охрана вагона усилена. К нашим окнам не подпускают. Шторы спущены. Темно в вагоне, горит одна лишь слабая лампочка. Томительно и душно. Пахнет железнодорожной гарью и пылью вагонов. Изредка перебрасываемся вопросами: когда же обход? когда двинемся?

Вваливается новая смена охраны. Шумно размещается с ружьями в вагоне. Сопровождающие нас офицеры шепчутся с пограничными властями Белоострова. Мелькает телеграфный бланк.

Пытаюсь подойти к ним. Новоприбывший солдат ружьем загораживает путь.

Опять ожидание. Наша охрана возвращается в вагон.

— Мы с вами доедем до Петрограда,—сообщают они, как о большой и приятной для нас новости.

— А разве могло быть иначе?

— Да, видите-ли, предполагалось вас снять здесь... Впрочем, это все уже улажено.

— А моя телеграмма Исполнительному Комитету?

— Да, да, я ее передал.

— Но пошлют ли?

— Должны бы...

Ждем...

Тягуче, томительно. Тускло и душно в вагоне. Тускло и на душе.

Струя свежего вечернего воздуха. Вваливаются таможенники:

— Велено забрать весь «их» багаж.

«Их» — относится к нам.

Осмотр? Пускай осматривают, — кроме пары новых ботинок, ничего «запретного». Не думала я, что эта пара сереньких ботинок на пуговках превратится в измышлениях анти-большевистской, нарочито-клеветнической прессы — в «четырнадцать пар сапог», мною купленных на немецкие деньги!

Унесли наши чемоданчики.

— Только бы они не вздумали конфисковать грим, что везу для Веры (артистки Юреневой),—сокрушается т. Ш. Но театральный грим был конфискован и послужил хорошей темой для новых газетных измышлений о целом арсенале косметик, который «опасная большевичка» возит с собою.

Полковник пограничной стражи, со старо-режимной выправкой, заходит в вагон, чтобы об'явить т. Ш., что теперь ее арест — «окончательный», что раньше был лишь «предварительный». Принимаем к сведению.

Уже ночь. Сизая северная ночь. Трогаемся. Через час — мы у цели, — Петроград.

Перрон Финляндского вокзала. Приходится ждать, пока пассажиры разойдутся.

Стою у окна вагона. Знакомый вокзал, веселой чередой бегут закрытые картинки дней детства и ранней юности. В те годы этот перрон предвещал либо прелести каникул на дедушкиной «мызе-Кузе», либо размеренность и повторность учебного зимнего года. А сейчас за ним, очевидно, только камера в «тюрьме Керенского».

Нас зовут.

Грузовик. Взбираемся. Уже светает. Небо из опалосизого переходит в ласковые тона розово-золотистого летнего утра.

Куда же везут?

Громыхает грузовик по Выборгской. Через Неву. На набережной остановились. Помещение контр-разведки.

Большая комната, пустая, окнами на Неву. В окно глядит ранний рассвет. Горит электричество. И в этой смеси света как-то особенно театрально-надуманно выступает фигура полковника из контр-разведки. Сидит за большим письменным столом. Бородка клином, лицо иссине-бледное. Глаза нелепо-остеклянившиеся, будто безумные. Движения несобранные, сбивчивые, как у пьяного или у кокаиниста (потом оказалось последнее).

— Шпионок привели? Большевичек? На немецкие деньги собрались губить Россию? Не удастся! Не дадим! Не позволим!

Голос у него будто придушенный, а выкрикивает слова с надрывом, через силу. Офицерам явно неловко за полковника. А он, вместо делового опроса, стучит кулаком по столу и неизвестно кому выкрикивает проклятья и угрозы.

Нелепо и досадно.

И вдруг успокоился полковник. Замолчал. Поправил волосы. Вскинул на нас свои остеклянившиеся, осоловевшие глаза и будто только теперь понял, кто перед ним и для чего. Порылся в бумагах.

Невзначай бросает в мою сторону.

— А вы давно знакомы с прапорщиком пулеметного полка Семашко?

Из допроса узнаю ряд фактов, освещающих картину июльского восстания. Начали моряки, Балтфлот. Очевидно, раскатилось стихийно, но дальше Петрограда не перекинулось. Арестованы: Рошаль, Дыбенко, Раскольников и «все видные ваши агенты», по словам полковника. Меня обвиняют в тягчайших государственных преступлениях: дезорганизации армии, ведущей к поражению России на фронте, сношении с противником, подготовке восстания и т. п. Но главное, что интере-

сует полковника, — это прапорщик Семашко. Если я сообщу ему данные о моем знакомстве с ним — все будет ясно!.. При чем тут прапорщик Семашко? Помню его на полковых собраниях, но с каких пор он стал центром внимания в вопросе борьбы с большевиками?

Допрос т. Ш. Одна из улик против нее—наша переписка с ней.

Товарищ Ш. заявляет:

— Переписка была личного характера.

— Так-с, так-с! Значит, переписка-то у вас была только строго личная. А скажите, гражданка Ш., что значит ваша телеграмма из Христиании гражданке Коллонтай: «выехать не могу, лечу зубы, вышли 60 крон, если нет, займи у Веры». Что значит «лечу зубы»? И кто такая Вера?

— Вы не знаете, что значит лечить зубы? Счастливый человек! А Вера — моя сестра.

— Ага, вы даете этому такое об'яснение? Прекрасно, Так и отметим. Ловко придумано! А при чем тут пересылка денег через некого Фюрстенберга (т. Ганецкого)? Ага! Это «товарищ» г-жи Коллонтай? И это отметим.

— А где же ваш друг Ленин? Разве благородно честному человеку скрываться, если он обвиняется в шпионаже?

Скрывается? Значит, Ленин не в их власти? От этого сразу на душе бодрее.

Допрос в контр-разведке закончен.

Нас уводят.

Снова грузовик. Везут на Фонтанку, к прокурору.

Город еще спит. На углах дремлют извозчики, спешит одинокий пешеход. Все такое будничное, по-ночному спокойное. Не верится, что несколько дней тому назад город жил лихорадкой нового восстания, шла стрельба. В Мариинском дворце нервно совещалось

правительство. А члены Совета—меньшевики и эсеры—растерянно хватались за испытанное оружие — работу контр-разведки и аресты, чтобы спасать коалиционное правительство от угрозы «большевизма». А матросы, солдаты, рабочие шли стеной, грудью своей пытаясь пробить путь в новую Россию, Советскую... Но власть Керенских оказалась пока еще сильнее. Нелепо думать, что Совет, при теперешнем своем меньшевистско-эсеровском составе, встанет на защиту своих членов-большевиков против коалиционного правительства. Разве Чхеидзе и присные с ним — не подпорка кабинета? Но что такое Временное Правительство без Совета? Отнимите базу — Советы, — и нет Временного Правительства. Значит, «Советы» уже сейчас власть?

Привели к зданию бывшего жандармского управления. Посадили в большой пустой зал с зеркалами (некогда—особняк вельможи Екатерининских времен).

Опять ждать. Выполнение «формальностей». Изредка из дверей выползают таинственно-подозрительные фигуры: человек в косоворотке и смазных сапогах, но с явно-холенными руками, господин в хорошо сшитом пиджаке, а лицо опустившегося пьяницы...

Шепчутся с военными чиновниками. И исчезают за зеркальными дверями.

Ждем долго. Никак не найти прокурора. Еще не вернулся домой. А уж четвертый час утра...

И вдруг засуетились, заторопились, забегали по лестнице.

Прокурор приехал.

Полчаса — и об'являют: меня повезут «дальше». А что будет с т. Шадурской? Нас разлучают.

На этот раз не грузовик, а автомобиль. Везут меня в сопровождении двух солдат с ружьями и одного из офицеров, — того, что помоложе.

И опять говорим о войне, о большевизме, о Советах.

— Вы когда-нибудь пожалеете, что не идете с рабочими, с трудящимися. Ведь историческая правда-то на этой стороне.

Сказала вскользь, а через много лет получила письмо от этого самого офицера с горьким упреком себе и судьбе, что я тогда была «жестоко права»...

Заботит вопрос: как сильна реакция? Как-то не верится в нее. Так живо стоят перед глазами многотысячные митинги в полковых казармах, на фабриках, на кораблях Балтфлота. Трудящиеся — они уже в те дни понимали, чутьем понимали, что «власть Советов» — это и есть то, что им надо, то, чего они хотят. Не управителей над собою, а самим управлять, решать, творить... И прикончить эту разорительную, губительную бойню... Массы это понимали. Не хотят понять только те, кто у руля... Офицер рассказывает о разгроме под Ригой. Наступление немецкой армии продолжается. Не в этом ли причина, что так легко удалось подавить восстание? Они думают, что восстание подняли «большевики», но я то знаю, что партия действовала все время сдерживающе, что Ленин расхолаживал порывы «торопы». «Еще не назрело, еще рано. Где ваши кадры? В чем ваша «подготовленность»? И делегаты из военных или морских частей уходили от Владимира Ильича несколько разочарованные и озадаченные, но действовали уже осторожнее и вдумчивее.

Выборгская сторона. Меня везут в Выборгскую женскую каторжную тюрьму.

— Всегда как-то приходится, что я попадаю в тюрьму ночью.

— Как это вы странно сказали. Тюрьма, — разве это не жутко?

Он еще очень молод, мой спутник, офицер-охранник. И вдруг прибавляет взволнованно, вполголоса:

— Хотите, я вас отпущу? На свою голову...

Как он еще молод!..

Тюремные ворота. Внушительно-мрачные. Распахнулись и поглотили наш автомобиль. Пока выправляют бумаги в тюремной канцелярии, слышу, как офицер просит дежурную надзирательницу:

— Вы все-таки отведите камеру получше, посветлее...

— У нас не гостиница, — отрезала надзирательница.

По тюремно-ажурной, железной лестнице подымаемся на галлерейку справа. Камера № 58.

Щелкнул замок на два крепких поворота. Железной дверью отрезана от движения.

В высоком окне с решеткой играет пыльный луч утреннего солнца.

Выборгская женская тюрьма заново отделана, покрашена. Февральская революция очистила тюрьмы. Я обновляю корпус для политических в новой, буржуазно-республиканской России. Спала на жесткой койке — крепко спала, пока не принесли кипяток и крупный ломоть черного хлеба. Разрешено самой купить чай.

Тюремный день начался. Прежде всего — привести камеру в порядок. Хорошо, что т. Ш. заставила взять ее плед — койка выглядит не так тюремно. Полочка для умывальных принадлежностей, есть где помыться.

Мысль работает: как сильна реакция? Что делают наши? К полдню появляется начальник тюрьмы. Тучный, с бачками, поставлен сюда «новой властью», — так и отрекомендовывается мне. Словоохотлив, но больше по части «низости» большевиков.

Отмалчиваюсь.

Если верить его словам, все «большевистские поджигатели» арестованы.

На след Ленина уже напали, может быть, и он арестован. А другие «покаялись» и во всем «признались».

— В чем же признались?

— В том, что у большевиков непосредственная связь с генеральным штабом Германии. Есть вопиющие улики. И против вас тоже... Но это не мое дело.

Приносят обед—винегрет на постном масле, по тем временам совсем с’едобно.

Прошу достать мне газету. За мой счет. Не несут. Вечером узнаю, что я «на особо строгом положении», и газет мне давать не дозволено. Ни прогулок, ни свиданий. Так-таки и отрезали от движения, от партии.

Длинный-длинный пустой тюремный день. А сколько таких впереди?

Вечером опять кипяток и ломоть хлеба.

Электричество тушат в девять.

Белая ночь голубеет в тюремном окне. И тихо, мертво-тихо.

Начались повторно-пустые дни в тюрьме Керенского.

Начальник тюрьмы общительно-болтлив. Он заходит ежедневно около 12-ти с вопросом: «Нет ли претензий»? Затем усаживается на табуретку и начинает свои разглагольствования. Первые дни — все больше сетования по адресу большевиков. Сожаления, что и я попалась в их «сети», может быть я даже не знаю, что это такое за преступники? «Государственные преступники», не простые там каторжане. Что может быть хуже предательства своего отечества?..

От начальника тюрьмы узнаю, что все арестованные партийные товарищи, включая т.т. Троцкого и Каменева, сидят в Крестах. «Соседи», так сказать. Но держат их значительно свободнее: общаются днем, ходят на прогулки. Только меня распоряжением «свыше» держат на особо строгом положении. Против меня — главный материал.

— Какой такой материал? Мои речи, выступления, статьи?

— Нет, есть материал посерьезнее. Переписка там, показания.

Тогда удивилась, не понимала еще, что процесс этот «состряпан» был меньшевиками и эсерами для опозоривания большевизма. Уж если слова—«лечить зубы» могут сойти за шифр, как же сомневаться в основательном «материале» против большевиков?

Вторая излюбленная тема начальника тюрьмы, это— тюремное хозяйство. Человек попал на свое место. Я часто потом жалела, что Октябрь его смел. Он любил «свою тюрьму». Жил интересами заготовок дров на зиму, получения доброкачественных продуктов и т. п. Может быть кое-что и на себя «экономил». Но гордился своими достижениями: чистотой тюрьмы, тем, что хлеб в тюрьме лучше, чем в городе, что баня отремонтированная, что «сберег тюремную копейку». Войдет, отчеканит казенный вопрос о претензиях и не выдержит, спросит:

— А заметили ли вы, какая каша-то пшеничная вчера была к обеду? Рассыпчатая, со вкусом. Случай такой вышел. Окольными путями достал. Дешево и сердито.

Другой раз особо зайдет, спросит — хорош ли хлеб? Хозяйственный был мужик!

Но о том, что делается за стенами тюрьмы — от него не выведаешь.

Попросила книг, тетрадь для заметок. Написала заявление. Надзирательницы холодно-вежливы. Но чувствуется: не одобряют «большевичку». Они — «патриотки», за войну до победы. Служили здесь же при старом режиме. Очень были недовольны «разгромом» тюрьмы в февральскую революцию.

— Помилуйте, новые подстилки на койки сожгли... Каторжников да хулиганов на улицу выпустили.

Ждала книг дня два—три. Очевидно, и на это надо было получить особое разрешение. Принесли «Фрегат Палладу» и Гамсуна. Первая передача — с'естное, подушка. Поделилась с надзирательницей, вид у ней голодный. Обмякла несколько, говорит — «нельзя принимать». Но сахар в карман положила и сладкий хлебец.

— Это я для своих кошек. У меня ведь никого нет. Ни семьи, ни знакомых. Только вот мои кошки. Пять штук. А сейчас у «Чернячи» котята. Сама-то черная, как сажа, а все четверо котят, как на подбор, — дымчатые. Понять не могу: откуда? Коты у меня оба пестрые.

Отдала ей банку сгущенного молока. С этого дня лед был сломан, и я всегда знала, какие новости в кошачьем царстве.

Дни повторно-пусты. Ни звука не просачивается о том, что за стенами камеры 58.

Почему не разрешают прогулки?

Отчего молчат Советы?

Ну, хорошо, пусть Чхеидзе в Совете ведет линию на подавление большевиков, но куда же делись все те тысячи, десятки тысяч «сочувствующих», что рукоплескали нам на митингах, что принимали резолюции за власть Советов? Не созрело еще? Рано? «Надо ждать»? Хорошо ждать в активности, на работе. Но не здесь, от всего оторванной, бездейственной.

Особенно уныло в камере по вечерам. После шести часов. В шесть приносят последний кипяток. Потом щелкает на два затвора замок и знаешь: теперь уже нечего ждать, сегодня уже ничего нового не просочится. Впереди — только ночь. Мертвенно-тихая, прерываемая звенящими *далекими* звуками тюремной пустоты.

Утром неожиданно щелкает замок. Вся — любопытство.

В дверях—две незнакомых фигуру: один солидный, осанистый, другой поменьше, с ищущими глазами, приученными все подмечать. За ними—начальник тюрьмы.

— Гражданка Коллонтай, гражданин прокурор желает узнать у вас, нет ли претензий?

Но я вижу, что прокурора привела сюда также и доля любопытства — он довольно бесцеремонно осматривает меня, оглядывает камеру.

— У вас здесь совсем недурно. Камера светлая, опрятная. Чего же больше?

— Как насчет еды? — вворачивает начальник тюрьмы — кажется, претензий нет?

Я ставлю вопрос о прогулках, о свидании, о том, что вообще желаю знать, на каком основании арестована?

Прокурор делает строго-унылое лицо.

— Дело большевиков слишком серьезно. В нем нельзя разобраться в течение недели. Слишком много важнейших нитей. На следствие, для правильного и беспристрастного освещения фактов и разбора материала, потребуются месяцы. Но ведь вы не одна в таком положении. Все ваши виднейшие товарищи также подвержены мере предварительного пресечения. И число их на-днях опять увеличилось.

Кто еще арестован? Конечно, не говорит. Зато очень недвусмысленно дает понять, что ко всем остальным, сидящим в Крестах, применяется значительно более свободный режим. Меня же держат на «особом положении», так как главные улики «в государственной измене» числятся за Лениным, Зиновьевым и мною. На это есть «данные», их, по мнению прокурора, я «сама должна знать лучше, чем кто бы то ни было». Подчеркивает, что обвиняемся мы по весьма и весьма тяжелой статье. В лучшем случае — каторга. Насчет свиданий и речи быть не может. Прогулки? Постарается сделать то, что допустимо.

— Вы знаете, что вы — одна женщина по делу большевиков. Вы с Лениным хорошо знакомы? Личные друзья?

— Товарищи, да.

— Ах, да, у вас это принято называть товарищами. Мое почтение.

Раскланиваемся издали. Ушел прокурор, оставив после себя след моральной неприятности. Долго не могу отделаться от чувства досадливой гадливости и бесцельно хожу, вернее — верчусь по камере. Не перебьешь мыслей, не заставишь себя даже за книгу сесть.

Что же делается там, за стенами? Неужели так окрепло Временное Правительство, что может позволить себе безнаказанно держать по тюрьмам тех, кто идет против его политики? А Центробалт? А Союз металлистов? А рабочие Выборгской стороны? Не разгромлена же партия целиком? Она видела и худшие времена. Неужели месяцы, может-быть, годы вот такое бездействие, вот такая оторванность?

Вечером, опять неожиданно, появляется начальник тюрьмы.

— Меня очень огорчило посещение прокурора. Вы видите, я ничего не могу сделать. Пока даже и прогулок не разрешил. Оказывается, что ваше дело очень, очень серьезное. Все этот Ленин понаделал. Кто он такой? Купец? И зачем это он скрывается...

Скрывается? Чудесно! Значит Владимир Ильич не арестован. И вдруг делается почти весело.

От начальника тюрьмы узнаю, что в Крестах большевики устроили что-то вроде «бунта» и что зачинщиками были Дыбенко и Раскольников. Раскольникова я впервые увидела, когда мы вместе с А. Г. Шляпниковым вошли в вагон поезда, отправлявшегося встречать В. И. Ленина на станцию Белоостров. Он сидел с О. Д. и Л. Б. Каменевыми. Юный-юный мичман. Л. Б. Каменев

отрекомендовал его мне, как постоянного сотрудника «Правды». А теперь, в июльские дни, имя Раскольникова у всех на устах.

П. Дыбенко в кругах моряков — популярнейшая фигура. «Свой» вождь, понятный и близкий. Горячий, и стойкий, и весьма решительный. Уже превратилось в легенду, как Дыбенко «спустил» с корабля Керенского, приехавшего «уговаривать» моряков подчиниться требованиям Временного Правительства и «не самовольничать». Его энергией вызван был к жизни Центробалт. Теперь и он из'ят. А среди матросов еще сильно было «оборонческое» настроение. Если все видные большевики за тюремными решетками, кто знает, удержится ли воля моряков бороться за Советы?

Неутешительные вести долетают в камеру, если долетают.

Как-то утром одна из надзирательниц принесла мне «Известия». Очевидно, это было сделано «по указанию», так как тон «Известий» и все события говорили о полном разгроме большевиков и большевизма. Однако, немецкая армия продолжала наступать. Сплотит этот факт социальные слои и закрепит временно коалиционную власть, или наоборот: все страдания и лишения народа, растущий недостаток в продовольствии, злоба на бессилие правительства остановить наступление — толкнут трудящихся на путь «самозащиты», а, значит, на путь борьбы за власть Советов?..

И опять долгий день, заполненный только своими мыслями.

Вечером кипяток приносит мне молоденькая надзирательница, взятая при новом режиме. Глаза у нее заплаканные.

— Что с вами? В чем горе?

Расспрашиваю. И, конечно, узнаю, что все горе «в нем». Не женится. Не поймешь: действительно ли любит, или так, «балуется»? А она сердце-то все ему отдала.

Заговорилась, забыла, что она в камере и что беседовать с заключенными — «не по правилам». Но «облегчить душу страсть охота». А я слушательница внимательная и умею «подсказать» да «об'яснить».

— Откуда вы это знаете? — удивляется она на мои об'яснения.

И вдруг спохватывается: с кем это разговорилась так по душам? С большевичкой!

— Ну, если все большевички так думают, так значит они люди хорошие, и что про них говорят — все пустое.

Уходя, бросает:

— Как старшая в канцелярию на дежурство уйдет, я к вам. Побеседуем еще.

Не раз заходила хорошенькая надзирательница по вечерам, когда тюрьма затихала на ночь, ко мне. Из рабочей семьи. С ней легко было столковаться и об'яснить, почему «власть Советов», и чего хотят большевики. Эта поняла и сама обрадовалась. Оказалось, что и он с «большевиками». Теперь-то их семейное дело скорей на-лад пойдет.

Неурочный час — одиннадцать, а замок щелкает, отпирается.

Кто? что?

Надзирательница.

— Пожалуйте к следователю.

Инстинктивно поправляю блузу, волосы. Первый допрос после контр-разведки. Все-таки «движение» дела.

Днем железная лестница кажется длиннее и еще ажурнее. Железные двери камер напоминают сейфы. Только за этими железными запорами—нечто более ценное,

чем банковые ассигнации, драгоценные камни или золото — людские жизни. Источник живой энергии. Что может быть ценнее в мире? Живой человек — носитель труда.

— А, много сейчас заключенных? — спрашиваю у надзирательницы.

— В этом корпусе вы одна. Но будто к ночи сюда переведут иностранку одну. Тоже шпионку.

Так что для них я «тоже шпионка»?

Рядом с канцелярией — следователь за столом. Худой, бесцветный, невзрачный.

Разложены бумаги.

— Садитесь.

Допрос сбивчивый. Очевидно, материала-то настоящего нет.

Опять о прапорщике Семашко и о пулеметном полке, о переписке с т. Ш. Фигурирует обмен моих телеграмм с т. Ганецким и моя телеграмма В. И. Ленину по поводу его приезда. Ссылается на показания какого-то Ермолаева или Ермоленко, очень, будто бы, компрометирующие показания. Этой личности я не знала.

Заносит и это.

Пробует «ошаривать» вопросами:

— А вы не говорили в Военно-большевистской организации в доме Кшесинской?

— Разумеется, говорила, я же была делегирована от военного клуба в Совет и состояла от них членом Исполкома Совета.

Вопросы все в этом роде.

Бесцветный допрос.

Но после него ощущенье, что там, на верхах, вовсе не так богаты материалами, даже если материалы эти в большинстве сфабрикованы.

На другой день — разрешение на прогулку. Очевидно, после снятия первого допроса. Но свидания еще

не дают. Ни писем, ни газет. Начальник тюрьмы сообщает, что т. Ш. ежедневно бывает в приемной тюрьмы и очень озабочена моим здоровьем. Хлопочет о докторском осмотре. Ей передали, что у меня ночью был сердечный припадок.

Докторский осмотр? Это умно. Может быть, удастся добиться изменения меры пресечения?

На первую прогулку итти совсем весело. Я шучу со встречными надзирательницами, и на ажурной тюремной лестнице раздается смех. Гулко ударяется он о непривычные к смеху тюремные стены.

Тюремный двор — уместительный. С одной стороны наш корпус — корпус политических. С другой — каторжная тюрьма. На окнах теснятся женщины, перекликаются с мужским корпусом. Над ними, густым облаком носятся голуби — в ожидании крошек.

Дорожка проведена по дворику кругом. Посредине — клумба, поросшая травой, но в траве запуталось несколько ромашек. И это радует глаз. В конце двора — высокая кирпичная стена, сорный репейник и чахлый куст сирени. Жадно любуешься на зеленое пятно. А главное — небо. Не потолок, не безлично-серые стены камеры, а небо. Небо с бегущими облаками, с горячим, еще июльским солнцем...

У дверей — часовой. У стены — часовой. Ходим в круг с надзирательницей.

Полчаса.

И — конец.

Подыматься по ажурной лестнице в камеру много скучнее, чем сбегать по ней на прогулку...

За мной заходит, чтобы вести на прогулку, надзирательница, что постарше. У нее и всегда-то уныло-озабоченный вид, а сегодня и подавно.

День чудесный, весь играющий летом. Такие жаркие, солнцем насыщенные дни часто бывают на переломе к осени.

Идем по двору. Один круг, другой, третий. Молчим. Вижу: отстает надзирательница, глядит на землю, а у самой слезы капают. Остановилась.

— Что у вас на душе, Мария Дмитриевна? Горе какое?

В ответ уже открыто полились слезы.

Сына единственного, любимого, материнская опора и утешение, забрали на войну.

— Еще ребенок совсем (обычное материнское восприятие!), и такой он ласковый, сердцем добрый. Всякую собаку пожалеет, не то, что людей убивать.

— А как же вы за войну стоите? Разве вы одна так думаете? А другие матери?

От материнского горя — к большевизму, к вопросу о власти Советов... Чуть-чуть не прозевали получасового срока прогулки!..

На пороге камеры № 58 обе приходим к заключению, что «война народу не нужна, что от нее одно зло да горе людям». И все же Мария Дмитриевна щелкает на два затвора замок моей камеры, а я остаюсь пленницей оборонцев.

Но то, что даже тюремная надзирательница, «патриотка», служанка старого режима, может так говорить о войне, рисует мне, куда направлены чувства и желания народа. А раз желания и чувства многих миллионов работают в одном направлении — воля скажется. Воля трудящихся!..

И вдруг мелькает подозрение: а вдруг весь разговор Марии Дмитриевны — провокация? Нет, не так молча, скупо, провокаторы не плачут. Да и что я сказала ей такого, чего не повторяла уже сотни раз на площадях и многотысячных митингах?

День, другой, третий — нет передачи. Это начинает тревожить. Еще новые аресты? Жутко сознание, что всякая связь с миром может быть порвана.

Шум, говор за дверью. И чуется мне голос т. Ш. От этого и радостно, и досадно. Аресты значит продолжаются?

Вечером, будто делая мне одолжение, старшая надзирательница передает мне газету. В ней статья, статья старого большевика. А пишет он против большевиков. Осуждает нашу политику. Отмежевывается.

Так далеко зашла реакция?

Где же, где же те, кто шел с нами и для кого «власть Советов» — желанная и неизбывная цель?

«Надо уметь ждать. Еще не назрело... Еще не собраны силы»...

Я вспоминаю редакцию «Правды» на Мойке. Крошечная темная комнатка, в которой всегда горело электричество, даже днем. Это и был «кабинет» Владимира Ильича до июльских дней.

Я пришла за директивами перед тем, как ехать в Стокгольм на совещание Циммервальда. Владимир Ильич предложил мне остановиться в Гельсингфорсе и побывать на кораблях. У него только что передо мной была делегация от Центробалта, и он не одобрил их нетерпеливых планов ввязаться в открытую борьбу с оборонцами:

— Надо уметь ждать...

Надо уметь «ждать» и здесь, за тюремными запорами.

Передача. По составу понимаю: от т. Шадурской. Значит, она еще на свободе? Дышится легче.

Второй допрос. На этот раз «сам» следователь Александров. Небольшого роста, с узкими живыми глазами, привыкшими «видеть» людей, независимо от их слов. Сразу чувствуешь: это — сознательный враг, но зато хоть «умный».

В допросе фигурируют все те же данные: мои выступления перед военными частями с речами против

войны, за «братание»; моя статья в «Правде» в защиту немецких военно-пленных; обмен телеграммами с т. Ганецким (были и телеграммы от него для передачи т. Ленину), переписка с т. Шадурской, и т. д. Александров дает понять, что установлена связь Ганецкого, Козловского и Уншлихта с немецким штабом, что все эти лица не что иное, как «немецкие агенты», и что процесс наш подходит под статью о государственной измене.

Допрос длится два часа.

Внимательно читаю протокол. Вношу «уточнения». И ухожу усталая нервами, как всегда после допросов.

В камере вдруг вспоминаю: в моей комнате, на Песках, у чужой хозяйки остались не только мои вещи, но и книжечка с адресами; там, рядом с адресами т.т. Уншлихта и Ганецкого, адреса и других партийных товарищей в Петрограде. Если забрали адресную книжку, значит, подвела товарищей. Как это я не подумала раньше, не подсказала по дороге сюда т. Ш. в первую очередь «почистить» мою комнату? Но, может быть, обыска еще не сделали? Может быть, случайно не знали, где я жила перед от'ездом в Швецию? Как бы из'ять адресную книжечку? Весь вечер думаю не о процессе, не о допросе, а об адресной книжке. И ночью не сплю. Был или не был обыск?

Утром кипяток приносит Мария Дмитриевна. Она повеселела: первая весточка от сына с фронта. И вдруг я надумываю:

— Мария Дмитриевна, у меня к вам маленькая просьба: передайте моей подруге Ш., пусть она зайдет к квартирной хозяйке, где я раньше жила, и пусть вынет из правого ящика письменного стола все мои мелочи. Главное мне нужен рецепт, а он лежит в синей записной книжечке. Пусть Ш. все заберет: записную книжечку, булавки, пудру и т. п., а по рецепту закажет мне бром. Сделаете?

— Отчего же? По рецепту можно и в нашей тюремной аптеке заказать.

Сделает или не сделает? Поймет ли Ш.? Узнаю ли, был ли обыск? И кажется, что всего страшнее, куда серьезнее всего дела против большевиков тот факт, что по моей небрежности могла подвести товарищей.

В тюрьме часто бывает такое извращение размеров фактов: крупное и важное заслоняется второстепенным. И второстепенное это кажется главным.

Погода сразу изменилась. По-осеннему моросит мелкий дождь, и в камере холодно, сыро. Кутаюсь в дождевик. Настроение тоже подавлено-серое. Все наделала эта книжечка с адресами!

В уголовном корпусе случай, «подозрительный по оспе». Вышло распоряжение, чтобы всем заключенным привили оспу.

Повели в корпус уголовных. В коридоре, с решетчатыми окнами и тяжелым затхлым запахом, — партия женщин, уголовных. Шумная партия, пестрая по возрастному составу, по одеждам, по выражению лиц. Две-три — почти девочки. Шумнее всех — пышная с красивым, свежим русским лицом, в опрятном платье с холеными руками. «Предводительница воровской шайки», — поясняет надзирательница.

Девочка, — худая, безгрудая, — оказывается, детоубийца. Да сколько же ей лет?

— Четырнадцать!

Старуха в черном шелковом платье — «баронесса», тоже воровка...

Меня оглядывают с любопытством. Кто-то кидает:

— Да это и есть та большевичка, немецкая шпионка, Калантаиха!

Крики, ругательства. Надзирательница спешно вталкивает меня в амбулаторию. Здесь светло и опрятно.

Но воздух все такой же нестерпимо прелый. У стеклянного шкафа высокая женская фигура в белом. Красивое, но холодно-бесстрастное лицо: «знаю, и делаю свое медицинское дело. До остального — не касаюсь».

Скупа на слова: «Снимите блузу». «Сядьте». «Правую».

Но работает чисто, уверенно.

Кончено.

Блуза надета. А уходить из амбулатории жаль. Такая она большая, светлая, опрятная. Не хочется в камеру 58!

Надзирательница, Мария Дмитриевна, принесла цветы. Говорит, что были еще, но что начальник тюрьмы сказал, что «неловко» в камеру допустить столько цветов.

От кого? Не сказано. Вернее — не передали записочку. Долго ли еще такая «изоляция»? И почему это в «Крестах» им позволяют и общаться, и дают свидания?..

Мария Дмитриевна говорит, что передала мою просьбу о рецепте Ш., и та обещала по рецепту заказать лекарство. Поняла ли Ш., что не рецепт мне важен?

Начальник тюрьмы сообщил, что будто в городе большое возбуждение против большевиков. Их считают главными виновниками поражений армии. Говорят о возможности «погромов».

И опять мысль вертится вокруг адресной книжечки. Только облегчила погромщикам работу!

Прогулки по двору испортились: во дворе идет заготовка дров на зиму, и для прогулок отведен лишь угол под самыми окнами уголовных. Из окна всегда несет тяжелым прелым запахом, слышна перебранка.

Во двор, через широко раскрытые запасные ворота в'езжают ломовики с дровами. Начальник тюрьмы тут же, распоряжается...

Лишилась и этого получаса тишины. Но тишина была живая — за ней слышались звуки жизни...

Испорчена прогулка. Я отказываюсь итти. Ссылаюсь на нездоровье.

У меня — соседка. Американка. Танцовщица. Заподозрена в шпионаже. Шумная, требовательная особа. «Сражается» через переводчика с начальством тюрьмы. Требует к себе «тюремную инспекцию».

— Очень она пищей недовольна, — сообщают надзирательницы. — Да еще требует, чтобы ее водили каждый день в большое помещение, где она может ноги размять, а то, говорит, без практики у ней ноги застоятся и она потом танцовать не сможет. И в камере, как ни зайдешь, она то на одной ноге стоит, то кувыркается...

Не одобряют ее надзирательницы, хотя проникнуты почтением к ее шелковому белью.

Ночью просыпаюсь от непривычного шума. Истеричные женские крики: «Спасите! Губят! Убивают!». Топот, мужские голоса. Шум. И снова эти раздирающие, истерические женские крики.

Инстинктивно — к двери. Но дверь не поддается... Заперта на два запора.

А крики все громче, все истеричнее. «Губят! Убивают! Спасите»...

Сразу обрывается крик. Гулкие шаги по лестнице. Мужские голоса. Заглушенный теперь дверями камеры, женский голос продолжает высоко и надрывисто выводить:

«Спасите! Губят!..».

В такую ночь — нехорошо в тюрьме.

На утро надзирательница, та, что имела пять кошек, об'ясняет: в уголовном корпусе переполнено. Привели ночью проституток, пойманных в «притонах». Одна, «истеричка», по мнению надзирательницы, уперлась, не хочет итти в камеру, хоть те что!.. Пришлось

звать надзирателей из мужского отделения. Дралась, кусалась. Руки связали и бросили в камеру...

А утром надзирательница к ней вошла, она сидит в углу, вся скорчившись, и пальцем показывает в другой угол: «Видите? Видите?». Надзирательница ничего не видит. Угол, как и все другие три угла камеры.

«А мужчину?» — «Какого мужчину?» — «Да самого что ни на есть натурального мужчину, разве не видите?».

Слова «натуральный мужчина» очень понравились надзирательнице, и она долго хохочет.

— Им все «натуральные мужчины» мерещатся. Должно быть, кокаинистка. Сумасшедшая...

Осведомляюсь, позовут ли к ней врача.

— Ну, чего там! Из-за этаких врачей беспокоить! Разве их от «натуральных мужчин» врач вылечит?

С этого дня беспокойно стало в нашем корпусе. И днем, и ночью «скандалы». А дни ползут медленно, медленно...

Начальник тюрьмы сообщил «конфиденциально», что мои друзья энергично хлопочут о том, чтобы по отношению ко мне применили другую меру пресечения — поруки, например, — но что надежды мало.

— Других-то, может быть, и выпустят. Но не вас. Это мне известно из достоверных источников. Да чем же вам у нас плохо? Стол прекраснейший, на воле люди хуже питаются, обращение с вами, это вы должны признать, самое корректное... Чего же вам еще?

Сообщение начальника тюрьмы подталкивает энергичнее взяться за хлопоты о моем освобождении на поруки. Подаю заявление со ссылкой на сердечные припадки, прошу врачебного освидетельствования. Странно думать, что министр юстиции — Зарудный, левый либерал, «гуманнейшая личность», как его всегда аттестовали, чинит препятствия даже к свиданию с моим

сыном. Но борьба есть борьба. Революция ведь еще не сказала своего последнего слова. Социальные группировки еще только «щупают» друг друга. Кто сильнее? Буржуазные либералы с меньшевиками и эсерами, или весь трудовой народ и с ним — его самые яркие выразители — большевики.

Тюремный инспектор Исаев приехал меня навестить. Бывший фабричный инспектор, кадет, из левых. Встречались не раз в былые годы еще на политических банкетах 1904 года, в эпоху «политической весны» Святополк-Мирского, в литературном клубе, на лекциях.

Исаеву явно неловко, что это я вдруг «заключенная»? И что посадили меня его друзья и приятели, что меньшевики и эсеры держат меня на особом положении, что не дают даже свиданий. Он старается «оправдаться» и критикует «власть имущих». Уверяет меня, что мой «старый знакомый» — министр юстиции Зарудный — очень склонен заменить меру пресечения залогом, что об этом шли переговоры, но есть «лица» (Керенский), которые решительно против проявления такой слабости. Главное препятствие в том, что боятся, как бы я вновь не стала «выступать».

— Ваши речи и без того много народу «перепортили»... Это не мое мнение, это говорят другие... Вообще все это очень странно и нелепо, ведь вы же все социалисты, и вы, и Керенский, и Авксентьев, и Церетелли... Очень странно!

Кадету, либералу, не охватить всей остроты начавшейся борьбы социальных классов, не понять разворачивающихся путей революции.

Все же он полон «благих намерений» и обещает сделать «все, от него зависящее», и по вопросу присылки врачебной комиссии для освидетельствования, и по вопросу о свидании.

Только ушел, а две надзирательницы в дверях. Обе нагружены свертками.

— Ну и передачу же вам сегодня принесли. Прямо оптовый магазин. Чего, чего только нет! Булки белые, колбаса, консервы, масло, яйца, мед...

И записочка: «Моряки Балтийского флота приветствуют товарища Коллонтай».

Вот это так чудесная передача! Значит, Центробалт не разбит? Значит, дух-то моряков не сломлен? Значит, «оборонцы» не победили? Остальное все приложится!

На радостях, как соседка по камере, американка, готова была бы заскакать по камере.

С этого дня начались передачи, то от рабочих завода, то от района, то от трамвайщиц городского парка, то от текстильщиц. Может, и раньше были, да не доходили. Исаев «навел порядок».

А передачи сразу подняли настроение. Еще бы! Разве не лучший знак, что жив «дух большевизма»? Районы, фабрики, флот... Не задушили их оборонцы. Пусть переловили, засадили «вожаков», и без них рабочие найдут свой классовый путь. Напрасно теперь старшая надзирательница, будто случайно, кидает:

— Нет больше большевиков! От них и рабочие, и солдаты, и матросы — все как от бешеных собак, сторонятся.

— Говори, говори!

А передачи?

И злорадно усмехаешься. Нет, теперь не поверю! Теперь уже ясно! Идет, стелется по низам здоровый протест против зловредной политики оборонцев. Когда сознаешь, что там, за стенами, идет борьба, тогда и здесь сидеть не так тягостно...

Вечер. Солнце заходящее. Небо розовое. Забралась на стол: страстно хочется поглядеть, что там — за окном! Но видны лишь крыши домов, кусочек пятого

этажа желтого здания... Прислушиваюсь. Гудит город, живет. Мы — в мертвом бездействии. А город живет по-обычному. Одним больше, одним меньше. Так и в движении революционной борьбы. Убрали, из'яли сотни, остались миллионы... Хорошо сознавать, что борьба продолжается.

Дали свидание. В канцелярии у начальника тюрьмы. В присутствии чиновника министерства юстции, с разрешения самого министра — Зарудного. Очевидно, все работа кадета Исаева. Странно: кадеты, ходатайствующие за нас у меньшевиков и эсеров.

Свидание короткое, всего четверть часа. Удается все же узнать, что Шляпников не арестован, что Каменев выпущен. Красин и Горький хотят взять меня под залог. Минуты так коротки, что, вместо вопросов, молчишь и сверяешь часы. Сотой доли не спросила того, что хотела!..

На пороге вспоминаю: а рецепт?

— Найден, среди всех записочек (подчеркнуто); завтра получу лекарство.

Гора с плеч!..

Через день — врачебная комиссия с д-ром А. во главе. Тоже старый знакомый. Но новостей от докторов не узнать. Впрочем, присутствует надзирательница.

Сердце расширено, давление крови повышено, опухоль ног и лица... Все это заносится в памятную книжку.

Единственная новость: в Москве совещание с промышленниками, с Бубликовыми и другими «живыми силами страны». На это совещание возлагаются «большие надежды».

Кем?

Ушла врачебная комиссия. И вдруг безотчетно и тоскливо стало. Точно ждала от них другого. Не сму-

тила же весть о совещании «живых сил страны»? А тоскливо до безнадежности...

Ночью — новый транспорт уголовных. А вдруг это «свои»? Может, волна новых арестов? И странно мешаются чувства: и жутко, если новые аресты за дело, и эгоистически хочется «своих» в тюрьме...

Бездонно здесь, одиноко и пусто.

Счастливцы те, в «Крестах»... Все же — все вместе.

Думала, что после врачебного освидетельствования дело пойдет скорее — освободят под залог и поруки. Первые дни начальник тюрьмы был — сама любезность: заходил в неурочный час, справлялся, не надо ли лекарств, не позвать ли тюремного врача. И прибавлял неизменно: «пока еще ко мне относительно вас никакой бумаги не поступало. Но будем надеяться, что ваши влиятельные друзья всего добьются».

Дни шли. А движения — никакого.

— Правительству сейчас не до вас. Как-то вырвалось у начальника тюрьмы.

— Почему не до нас? Насторожилась. Окольными вопросами хочу выведать. Но начальство тюремное увертливо.

Все реже заходит начальник тюрьмы. Отговаривается — некогда.

И свиданий опять не дают. Передачи — единственная ниточка из живого мира в мертвую, холодную, опротивевшую камеру.

Прибираю, цветы ставлю в кружку, пакетики с провизией в бумаге на полу по порядку разложила. Будто все на местах, а кажется камера такой сумрачной, нестерпимо надоевшей... Неужели просижу в ней год, два, три?.. От этой мысли чисто физическая тошнота поднимается. И боишься: а вдруг закричу истерически, как уголовные по ночам?..

Тянется, тянется время.

Дни в тюрьме равны месяцам.

Конец августа. Косыми лучами добирается солнце по утрам в камеру. Следишь за лучем жадно и любовно. Пока луч в камере — будто гость желанный. Все выше, выше. Скользит по потолку, зацепился в решетке окна. И исчез... В камере пусто. Ушел гость желанный.

В одиннадцать приходит начальник тюрьмы.

— Я пришел вас подготовить к плохим вестям. Пока неофициально, стороной узнал, что на ваше ходатайство об изменении меры пресечения наложена неблагоприятная резолюция... Ходят также слухи, что некоторых большевиков переведут в крепость.

И ушел начальник тюрьмы. Долгий, серый день. Мысль работает, а ощущенье тупого бессилия.

Передачи от фабрик и флота вдруг опять прекратились. Что случилось? Где причина?

Ночью нет сна. Уже привыкла к ночным скандалам уголовных, а теперь проснусь и думаю, думаю...

На прогулке дурно стало. Вызвали тюремного врача. Сухая, официальная. Прописала дигиталис. Велела лежать.

А мысли все кружатся вокруг одного. Перешла ли партия в подполье? Кто на свободе? Шляпников не был арестован, значит, Союз металлистов работает. А он — наш. И флот наш. Почему же не делают демонстраций, не требуют нашего освобождения? А, может быть, все это и было? Опять разбили, подавили?.. Может-быть, оттого и нет передач эти дни?..

Ночь. День и снова ночь.

Проснулась с безотчетной бодростью. Почти «радость жизни». Верно, потому, что светлый, светлый солнечный день.

Прибрала камеру. Жду прогулки. А на прогулке смеемся с надзирательницей, с той, у которой кошки, что ночью опять кому-то «нормальный мужчина»

в камере привиделся... Дворик теперь совсем в склад дров превратился. Но запах от свеже-сложенных поленьев смолисто-освежающий, и если закрыть глаза, можно вообразить себя в лесу.

Вернулась в камеру. Но уже нет подавленности предыдущих дней. Собралась внутренно. Три года — так три года. Пять — так пять. Но не будет и этого. Разве Временное Правительство справится со всеми задачами? Разве сумеет откликнуться на потребности народа? Долой войну, землю крестьянам, регулировка промышленности, власть трудящимся... Нет, оно будет топтаться на месте, оно не понимает, что история требует и властно требует шага вперед, в новое социалистическое будущее.. Если не решать все эти проблемы, не уцелеть Керенским. Мужичек не потерпит еще года войны. Ему и землю подавай сейчас, без проволочки, без откладывания до «учредилки»...

Нет, даже, если и порешат держать нас «пожизненно», история порешит иначе!..

Берусь за мелкие починки. Хочется, чтобы вокруг себя все было прибрано, в порядке. Заношу мысли в тетрадочку с перенумерованными страницами. Жаль, что не все в них запишешь!

Принесли передачу. Сегодня — удачный день. Незаметно пролетел. И будто чего то ждала. Безотчетно.

Вечер. Последний кипяток.

— Спокойной ночи, Александра Михайловна!

— Спокойной ночи, Мария Дмитриевна!

До завтра.

Больше на сегодня ждать нечего.

В камере уныло. Тускло горит электрическая лампочка. Скоро и ее потушат. А спать не охота...

Растягиваю приборку на ночь. Стою и мою руки. Что это? Шаги. Все ближе. Так и есть. Остановились

у камеры 58; замок щелкает. За мной? Перевод в Петропавловку?

Дверь широко распахивается: в ней — тучный начальник тюрьмы, улыбается и протягивает руку.

— Поздравляю! Пришла бумага — по распоряжению министра юстиции — Зарудного, вас отпускают под залог пяти тысяч.

— Кто же их внес?

— Ваши друзья. Кажется, здесь Максим Горький и инженер Красин старались. Вас ждут внизу.

Сборы — пять минут. Сердце бьется, бьется. Глупо-радостно.

Конец бездействию, оторванности. Страничка жизни в камере 58 дочитана.

Надзирательницы собрались внизу, провожают.

— Без вас скучно будет, не с кем пошутить, покалякать.

Уже не презирают «большевичку». и большевиков за шпионов не считают. Кроме главной надзирательницы. Та суха и формальна.

У под'езда извозчик.

Темные улицы. Сумрачен был военный Петроград осенью 1917 года. Притаился. Выжидая новых великих событий. Выспрашиваю жадно партийные новости. Был партс'езд, избрана в Цека. Владимир Ильич в надежном убежище. Еще многие в «Крестах». Но поворот настроения в сторону большевиков заметный. Популярность Керенского падает с каждым днем. Его называют «главноуговаривающим». Зовет в наступление и не сумел наладить снабжение армии. Центральные державы наступают. Продовольственный голод растет. Голоса контр-революционеров становятся более внятными. «Советы», силой вещей толкают на антагонизм с коалиционным правительством. К большевикам растут доверие и симпатии трудящихся масс. Число читателей «Окопной Правды» охватывает небывалые

цифры... Большего требовать нельзя! Снова работа. И борьба. Борьба и работа.

Так думалось и верилось, когда под'езжала к дому, где нашла приют после камеры 58.

Но иначе рассудил Керенский. Решение о замене ареста залогом было принято в его отсутствии. Когда ему доложили об изменении меры пресечения в отношении меня, он — так мне передавали — «рассвирепел». И немедленно, ночью же отдал распоряжение о наложении «домашнего ареста». Одну ночь удалось проспать без охраны. А на следующую, в час ночи,— звонок.

Мы сразу поняли, кто эти поздние гости.

Приказ о наложении домашнего ареста подписан был Керенским, Савинковым и Авксентьевым. Так далеко уже зашло расслоение социальных групп, что правительство эсеров и меньшевиков подписывали ежедневно приказы об арестах тех, кто стоял «за власть Советов»...

«Ночные гости» ушли. У дверей моей комнаты остался милицейский с ружьем...

Только по решению Петроградского Совета снят был с меня домашний арест. Это было в день открытия «Демократического Совещания».

Цена 20 коп.



СКЛАД ИЗДАНИЯ:

1) **Правление и склад Изд-ва Политкаторжан**
Москва-34, Лопухинский переулок, 5. Тел. 3-64-73.

2) **Магазин „Маяк" Издательства Политкаторжан**
Москва-Центр, Петровка, 7. Тел 4-18-12 и 3-63-20.